

НЕКИЯ

*Post amorem omne animal triste**

Снова пошел дождь. Может быть, он и не прекращался. Поделаться с этим я не мог ничего.

Тогда я встал и решил вернуться. Я сказал людям: «Я поищу дорогу». Нельзя сказать, что они от меня этого хотели. Они лежали вокруг, словно кучи мокрой глины, и в ответ на мои слова некоторые из них, кряхтя, перевернулись на другой бок. Я обратился к ним только потому, что в тот момент счел это правильным. К тому же я лгал, ибо знал, что в том направлении, куда я пошел, никакой дороги не было и в помине. Сделав несколько шагов, я поэтому приостановился; наверное, мне следовало добавить: «Если я не вернусь, то немедленно уходите в противоположном направлении». Мне стоило бы на прощание сказать им что-то такое, чтобы они поняли, что на меня не нужно больше рассчитывать. Но я уже исчез за пеленой дождя. Да, собственно, никакие мои слова уже не имели никакого смысла. Люди вовсе и не догадывались, что я пошел назад. Они утратили всякую способность ориентироваться в пространстве и потеряли представление о направлении.

Я сразу направился назад, в город. Это был большой город.

Но я вернулся. Да, я снова пребываю среди тех же людей. Вполне возможно, что они и не заметили моего отсутствия, ибо продолжали лежать на тех же местах и казались спящими. Я внимательно пригляделся к ним — нет ли

* Всякая тварь после любви печальна (*лат.*).

среди них того, кому я мог бы все сказать. Но я не нашел такого человека и не стал поэтому ни с кем говорить.

Не стал я разговаривать и сам с собой, что с недавних пор вошло у меня в привычку. Ночами я расхаживал взад и вперед, разговаривая вслух с самим собой. Тогда у меня было имя, с которым меня, впрочем, уже ничто не связывало. Но теперь все стало по-другому.

Было трудно представить себе, что когда-нибудь снова начнут печатать книги, как мы привыкли. Да едва ли найдутся и читатели, которых интересовали бы книги. Но, несмотря на все эти происшествия, о которых я поведу речь, меня все время буквально преследовал какой-то безумный и безрассудный стих, который я когда-то слышал, уже не упомяну, где и от кого:

К чему нам голос дан, — ответь, молю, —
Коль не чтоб петь у бездны на краю?
А если в бездне той исчезнет он...*

Последнюю строчку я забыл. Я не раз пытался восстановить ее по рифме, ибо тогда можно было бы объяснить, какое отношение этот стих имел ко мне и почему он мне помог. Сейчас-то я почти уверен, что без этого стиха я бы погиб. В какой-то степени он сделал меня устойчивым к происходившим событиям, так что я никогда в полной мере в них не участвовал и никогда не искал в них точку опоры. Да, этот стих играл роль шапки-невидимки. Но, как бы то ни было, последнюю строчку я так до сих пор и не вспомнил.

Я разговариваю с неким существом, которое, как я верю, временами появляется рядом со мной. Я на сто процентов уверен, что это не просто болезненное желание избавиться от одиночества, которое окутывает меня среди множества спящих людей. Иногда образ этого со-

* Перевод Н. Сидемон-Эристави.

беседника встает передо мной очень отчетливо, и я называю его Ты. Да, я хочу обратиться к этому «Ты», и тогда все происходящее превращается в нечто в наивысшей степени видимое. Однако одновременно меня охватывают и сомнения: не возник ли этот образ из воспоминаний, из того, что осталось у меня позади, того, что мне надо, наконец, считать безвозвратно утраченным. Образ, который хочет хотя бы ненадолго продлить срок своей жизни и поэтому изо всех сил старается привлечь меня к себе. Во всяком случае, до тех пор, пока нас окружают опасности и подстерегают беды.

Но кто это — друг или женщина? Если это друг, то он относится к той категории друзей, которых хочется навещать вечерами, с наступлением темноты. Он еще не включил в своем доме свет и, сидя в полумраке комнаты, о чем-то размышляет. «Ах, это ты», — говорит он, и гость сразу понимает, что явился не вовремя. И хотя гостю следует извиниться и уйти, он остается и присаживается рядом с другом. Следует обмен ничего не значащими репликами — о погоде, о дневных событиях да и бог знает о чем еще. Надо постоянно напрягаться, придумывать что-то новое, чтобы поддержать течение разговора. Почему он не включает свет? При свете все было бы намного проще. Но возникает и крепнет убеждение, что он хотел бы остаться один. Гость наконец сдается, умолкает и продолжает просто молча сидеть рядом. Тем временем полумрак сгущается, становится по-настоящему темно. Образ друга расплывается во тьме, становится невидимым, но ощущение его присутствия только усиливается и становится настолько мучительным, что гость едва отваживается дышать; похоже, эта комната слишком тесна для двоих. Не остается ничего другого, как полностью слиться с этим другим человеком. Этот другой сидит, повернувшись лицом к окну. Гардины не задернуты. Он смотрит на висящее в небе созвездие Ориона. Значит, на дворе зима. Он смотрит прямо на то место,

где находится большая туманность, но он видит туманность не как крохотное пятнышко, а как огромный облачный ландшафт. Эти облака космической пыли, скопления звезд и солнечных систем кажутся абсолютно неподвижными. Между тем они движутся быстрее, чем мы можем себе вообразить. Здесь и там мелькают более плотные точки и скопления, чтобы на единственный миг распуститься в нашем сознании в подтверждение своего существования. Друг в полном восхищении стоит перед этой картиной и вслух спрашивает, обращаясь к себе: «Где же здесь разница между движущим и движимым?» Преисполнившись удивления, он возвращается на Землю и думает: «Мы же находимся отнюдь не в середине нашей собственной системы. Может быть, поэтому мы воспринимаем все события искаженно и они не удовлетворяют нас». И тут вдруг начинается интересный содержательный разговор, который прекращается только тогда, когда сказано и рассказано все.

Однако если это женщина, то происходит эта встреча может только в полночь. В доме тихо, так тихо, что кажется, нет никакого дома в том месте, где пребывают два человека. Слышен только монотонный шепот рассказчиков. Все предметы становятся невесомыми, все границы размываются и исчезают. Он не повышает голос, если даже этого требует та или иная часть его рассказа. Он не делает никаких поясняющих жестов. Он сидит на краю ее кровати. Они оба обнажены, но не обращают на это ни малейшего внимания. Они освобождены от всякой возбуждающей отчужденности. Поначалу она пугается, замечая, что, хотя его взгляд направлен прямо на нее, он ее не видит. «Зачем он мне все это рассказывает?» — спрашивает она себя. Может быть, она не все понимает, потому что он невнятно выражается. Возможно, однако, что ее не сильно интересует его рассказ. Ибо то, о чем он повествует, не слишком занимательно. Но вдруг она замечает, что в своем рассказе он близок ей, как никогда раньше,

и самозабвенно отдается счастьем слушать его. Когда же он на мгновение умолкает, чтобы прикурить сигарету, она тут же спрашивает: «Почему ты ничего не говоришь?» И он снова начинает говорить. Или нет, потому что в этом уже нет необходимости.

Ты — я имею в виду именно это существо — (и так будет лучше) можешь переспросить, если чего-то не понимаешь в моих словах. Я прекрасно сознаю, что говорю о вещах, которые теперь не имеют никакого значения. У меня есть слова для их обозначения, да и сам я принадлежу кругу этих вещей, но они уже стали ненужными, да и определения им не вполне соответствуют. О многом я просто не стану говорить; такие речи для меня под запретом, ибо они опасны, слишком опасны. О них можно только думать, их можно только переживать. Однако стоит начать искать для них объяснения, как все бытие становится фальшивым.

Итак, я вернулся в город. Я шел по предместью. На улицах стояла такая тишина, какая бывала здесь — в те времена, когда время членилось на вчера и завтра, — за два-три часа до рассвета. Да нет, сейчас здесь было еще тише, ибо не думаю, что дыхание сотен тысяч спящих не производило никакого шума. Правда, в то время не было никого, кто бы к этому дыханию прислушивался. Ах да, ведь многие люди разговаривают во сне.

Сначала я старался громко топтать, идя по плитам мостовой. Мне было неприятно и даже больно идти, не производя ни малейшего шума; ведь так я мог напугать встречного своим неожиданным появлением. Мои одинокие шаги должны были громким эхом отдаваться от пустых стен. Но ничего подобного не происходило. Вообще, я был единственным, кто меня слышал. Сознать это неприятно. От этого стараешься вести себя еще тише.

Все выглядело так, словно сейчас было обеденное время. Магазины открыты. Перед лавками выставлены корзины с едой, стоят разгруженные тележки. У две-

рей домов стоят ведра, метлы и другие предметы, которые никто никогда не оставлял на улице на ночь. Раньше люди заботились друг о друге и понимали, что в темноте случайный прохожий может споткнуться. Такие вещи не оставляли на улице и просто из боязни воровства. Увидел я и детскую игрушку. Прислонившись к стенке, сидел маленький желтый мишка, а рядом с ним стояла игрушечная деревянная повозка, в которой этого мишку сюда привезли. Все окна были распахнуты настежь, перед некоторыми осталось висеть белье. Но ни из одной трубы не шел дым.

Так как окна были открыты, значит, стояло лето. До меня это дошло только теперь. Я не на все обращал внимание, ибо отнюдь не все меня интересовало. Например, я не смог бы сказать, были ли на балконах цветы. Почему, собственно, нет? Но я не воспринимал их как цветы. Точно так же и деревья в городе никогда не воспринимались как деревья, а всего лишь как украшения или как защита от солнца или дождя.

Я заходил в разные дома и поднимался по лестницам. От этих заходов я не ждал ничего особенного, но, несмотря на это, заходил. Дойдя до третьего-четвертого этажа, я возвращался. Уходил просто потому, что, в принципе, это было неправильно. При этом я заметил, что дальнейшее восхождение требовало от меня чрезмерных усилий. Нигде ничем не пахло. Ни едой, ни лежалой одеждой, ни погребом. Не было вообще никаких запахов. Пахло только от меня — дождем и мной.

Темно не было ни на лестничных площадках, ни там, где, по идее, должен был царить полумрак. Мне трудно говорить о цвете. Не могу ничего сказать и о какой-то последовательности. Не было, собственно говоря, ни темноты, ни света, но везде было светло. Это была скучная, тусклая светлота, наползавшая отовсюду. Вероятно, в тех местах, где должно было быть темно, было не так светло, как в других местах.

Раньше такое можно было видеть в лунные ночи. Но этот свет был ярче лунного в пять, а может быть, и в десять раз. Не знаю, насколько мне самому понятно это сравнение с луной. Это был бестелесный свет, лишенный чего-то главного и существенного. Чтобы не потеряться, он льстиво приспосабливается к вещам, отнимая у них цвет и сущность, впитывая их, словно губка, а затем присваивает себе эти свойства. Это было хуже, чем встреча с врагом. Враг оглушает и ослепляет все холодным, высасывающим кровь светом. При этом существа не замечают, что это их собственный свет, которого их лишает враг. Существа теряют всякое представление о реальности.

Вероятно, я все же несправедлив к луне. Странно, но большинство людей в тусклом отражении своей сущности чувствуют себя лучше, чем в своем натуральном виде. Боялись ли люди света, потому что он выставлял напоказ всю их темноту? Но что заставляло их отрицать эту темноту? Я снова и снова спрашиваю себя об этом, хотя и понимаю, что в этом вопросе нет уже ни малейшего смысла. Это просто болезнь.

Однако были и вещи, сохранившие цвет и даже усилившие свою яркость. Или мне так казалось, ибо это были единственные пятна цвета. В корзине у овощного магазина лежали очень крупные капустные кочаны и плоды редьки или какого-то другого светлого корнеплода. Кажется, они превосходно себя чувствовали и буквально раздвигались от удовольствия. Немного дальше я увидел витрину, которая, казалось, освещала расположенный перед нею кусок улицы. Такое впечатление создавали разложенные в ней большие желтые сырные головы. Но страшнее всего было проходить мимо мясных лавок: бледная плоть забитых животных, рядами висевшая на крючьях, была единственным, что еще казалось живым.

Нет, конечно, никакой необходимости говорить об этих тошнотворных явлениях; забвение их приносит уте-

шение. Да, мне было бы лучше согласиться с тем, что я обманываю себя; как мог я сметь после того, что произошло, и в том состоянии, в каком я тогда находился, утверждать, что сохранил способность к здравым суждениям? Вероятно, я мыслил так, как привык мыслить вчера, а не так, как того требовали реальные обстоятельства. Однако позднее, в другой части города, я увидел нечто, чего никогда не забуду и не хочу забыть. Это нечто попало мне на глаза в витрине ювелирного магазина. Меня поразили лежавшие там жемчужины, ибо золото и отшлифованные драгоценные камни — все, что блестит и сверкает при свете, — были ничем в сравнении с жемчугом. Я не ошибаюсь — эти жемчужины жили и дышали. Должно быть, они обладали невероятной, сверхъестественной ценностью; но раньше я об этом никогда не думал. Важно только то, что они попали мне на глаза и что я не хочу их забыть. Молочные и серые жемчужины. Но сказать только это, значит не сказать ничего. В их серости проступало напоминание обо всех цветах, каковых больше не существовало. Какое нежное, какое изящное пристанище! Или лишь смутное представление обо всех цветах, какими они должны были быть при рождении. Я долго стоял перед витриной, не в силах оторваться от этого зрелища. Я и сейчас постоянно думаю о том жемчуге. Мне надо было взять оттуда несколько жемчужин, чтобы раздарить их. Ибо, если этот Ты — женщина, которой я это рассказываю, то любая женщина — и завтра, и всегда — будет рада такому подарку. Да и кому пришло бы в голову запретить мне просто забрать весь этот жемчуг себе? Он же и был мой. Однако тогда я об этом не подумал.

В булочную я зашел только один раз. На двери висел звонок. Я немного постоял у входа — такова сила воспитания. Я взял с прилавка булочку и вышел на улицу. Звонок довольно долго звякал мне вслед, словно радуясь, что хоть кто-то его слышит. Свежую булочку я съел по дороге. Не потому, что был голоден. Понятно, что мне хотелось есть,

но я ел просто для того, чтобы засунуть что-нибудь между зубов и ощущать, что я жив и не потерялся.

Я совершенно отчетливо понимал, что не встречу по пути никого, даже пса. Да и его я не боялся. Только теперь, задним числом, я задаю себе вопрос, что, собственно, произошло бы, встретиться мне хоть одна живая душа. Есть ли на этот счет какие-то сомнения? Если бы это был человек, то я бы его убил. Я не очень мужественный человек, не слишком силен и совсем не ловок. Я всегда трусливо избегал драк и никогда никого не убивал. Но все же? Сейчас я вспоминаю, что время от времени мне снилось, будто в погребке или в саду под кустами, не очень глубоко — нет, не под кустами, а под кучей гнилых скользких досок, сваленных у стены, — зарыт труп. Эти сны страшно меня мучили — я боялся, что его найдут. Когда-нибудь его непременно обнаружат; а меня ждет неизбежная казнь. Суд происходил на окраине города, среди садовых участков. Там всегда обитали хорошо одетые господа. Невдалеке виднелась стена загородных домов. Умоляющим голосом я сообщил прокурору о том, что вполне мог совершить преступление. Не могу точно сказать, что я имел в виду. Указал я и на то, что мог бы натворить в будущем. Что за смехотворная сцена! Я отчетливо вижу, как он недоуменно пожимает плечами, а мой адвокат едва заметно качает головой. Я не могу описать, что я понял из этого мимолетного жеста. Ах, разве нельзя четко сказать: я не совершал то-то и то-то. Ибо, возможно, я это и сделал, но сам не сознавая своих действий. Но вдруг мне стало совершенно очевидно, что человек — это не то существо, которое всегда живет по общепринятым правилам и старается не поступать иначе, чем от него ждут. Ибо, когда все иллюзорное мироздание рушится в один миг и почва уходит у человека из-под ног, он лишается опоры. Но к данному случаю это не имеет никакого отношения. Если бы мне дали возможность говорить и дальше, то, вероятно, я бы назвал и имя покойника. Это было бы поистине ужасно.

Я говорил о том, что встретиться мне какой-нибудь человек, я непременно бы его убил. Однако это же само собой разумеется. Между прочим, это был бы акт милосердия; ни один человек не смог бы сохранить рассудок, оказавшись в состоянии такой полной свободы. Хотя можно ли назвать человеком умственно помешанного? Я не хочу этим утверждать, что действовал бы исключительно из соображений гуманности и милосердия. Да, как только бы я его заметил, я бы спрятался за выступом стены и напал бы на него из засады.

Если бы нашелся такой человек! Наверное, это была просто моя галлюцинация, и мне следует как можно скорее себя в этом убедить. А он — я хочу сказать, если бы тот человек появился, — мог бы оказаться таким же одиночкой, как и я. И мог быть проворнее и сильнее меня. Как бы то ни было, он бы точно так же попытался меня устранить. Судя по тому, что тогда творилось, другого было не дано. Это означало бы, что это еще не конец и долг каждого из нас — приблизить этот конец любой ценой.

От этих мыслей охватывает безмерная печаль. Надо беречься таких мыслей. Я, со своей стороны, просто искал этого другого. А он — меня. Хотя бы для того, чтобы поговорить с ним так, как я говорю сейчас. Мы могли бы представиться друг другу, назвав свои имена, и, произнеся их, навсегда забыть о расколе мира. Но где же он? Я же знал, что он здесь. Его образ запечатлен во мне, а значит, сам он должен существовать где-то вовне. Я уже когда-то слышал имя, которое он мне назвал. Мы встретились и прошли мимо друг друга? Были ли мы слепы, ожесточены ничтожностью дней, окружавших нас стеной ненависти? И теперь теми самыми руками, которые созданы для того, чтобы творить добро, мы задушим друг друга, потому что уже поздно делать добро.

Надо беречься от таких разговоров. Я уже сделал это, ибо у меня нет больше имени, каковое хоть что-то говорило бы обо мне, и ничто не дает мне имени, которое за-

ставило бы меня хоть что-то представлять. Но ты, однако, должен знать, кто я такой.

Но этого другого я так и не встретил. Я был совсем один, идя по абсолютно пустому городу. Я не знаю, откуда у меня взялись силы так долго идти. Не думаю, что смог бы повторить такой поход еще раз. Я уже не говорил: есть вещи, которые легче сделать, чем вообразить. Так дошел я до центра города, до больших площадей, некогда окруженных огромными зданиями. Восседавшие там люди прежде правили страной. Теперь же можно пройти мимо и забыть об их существовании; от них не осталось ничего реального, но лишь мучительное воспоминание об извечно присущем человеку стремлении загнать действительность в клетку закона. Они не говорят нам: если у вас беда, придите к нам! Они говорят: вам не о чем тревожиться! С поднебесной высоты, словно Атланты, они гордо возвещали народу то, что он хотел слышать, что все якобы в полном порядке. Рядом находился и театр, где люди с таким искусством разыгрывали свою судьбу, как никто не отваживался проживать ее в действительности. Как же все это странно.

Я наконец вошел в один дом. Это было отдельно стоявшее небольшое здание, окруженное садом. Я зашел туда просто потому, что проходил мимо. Ну, или потому, что ворота и двери дома были открыты. Или потому, что мне надоело бродить и надо было заканчивать это путешествие. Собственно, искать там было нечего. Конечно, теперь, задним числом, все это выглядит так, словно этот дом был целью моего похода и дожидался моего появления. Но это неправда. Никакой цели у меня не было. С равной вероятностью я мог бы зайти в любой из тысячи других домов; все это было теперь моим, хотя я и не знал, что именно меня там ждет.

Определенно, в этом доме ждали гостей, пусть даже и не меня. Я старательно вытер ноги о половик, чтобы не испачкать чистый пол в коридоре. Хотя я и без этого не